

בסמ"ח

מנורה



ИВРУСАЛИМ

החשמ"א 22 1980

ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ МАДАМ ПОТИФАР ЛЮБУЕТСЯ ПРЕКРАСНОЙ ФРАНЦИЕЙ

Шломо Билга

В свидетели призываю на вас ныне небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери же жизнь, дабы жил ты и потомство твое, чтобы любить Господа, Бога Твоего, слушая глас Его и прилепляясь к Нему; ибо он жизнь твою и долготу твоих дней, в кои пребывать тебе на земле, которую клялся Господь отцам твоим, Аврааму, Ицхаку и Иакову, дать им.

Второзаконие 30:19–20.

Предисловие, едва не ставшее последним словом обвиняемого

...Я любил и теперь еще люблю математику ради нее самой, как не допускающую *лицемерия и неясности* — двух свойств, которые мне отвратительны до крайности.

Жизнь Анри Брюллара, 86.*

Когда вы находите ответ на волнующий вас вопрос, совсем не обязательно писать об этом. Но если ваши поиски привели к... В общем, возможность объяснить — единственная оставшаяся у меня после всего случившегося литературная привилегия и обязанность.

Я пишу, я складываю, я подклеиваю это... ну что ли *иерусалимское эссе-кораблик*, это аналитически-сочувственно-ироническое признание, — я пишу его для русскоязычного читателя, а если конкретнее — для тех, чья юность прошла, проходит, будет проходить в России, а если еще конкретнее — то для евреев *из и в России*, и, наконец, — куда уж конкретнее — для своих детей. Немногочисленные, но иногда довольно личные автореминисценции демонстрируют серьезность моего отношения к теме, а не к самому себе. Между прочим, я математик, но диплом — это ведь еще не патент на правдивость и ясность мысли.

Но ближе к делу: истина, которую я собирался доказывать, приступая к своим изысканиям, состоит, грубо говоря, в том, что роман Стендаля "Красное и черное" — это испытательный стенд, где литературная марионетка, несчастный Жюльен Сорель, демонстрирует нам во всех деталях — псевдо-религиозных, социальных, национальных, психологических, интимных, — как сложилась бы судьба Иосифа, сына Иакова, если бы он, не приведи Господь, был французом 1800–1810 года рождения.

* Курсив Стендаля. Здесь и далее Стендаль цитируется по изданию 1959 г., Москва.

Несколько дней работы показали, однако, что проблема серьезнее: выяснилось, что история Иосифа — не просто аналогия, это духовный и при этом смертельно-ненавистный автору *архетип* романа, воспроизведенный *наизнанку* с тем большей (почти пугающей) точностью, что искренний Стендаль даже не подозревал о его вдохновляющем — ведь и ненависть вдохновляет — присутствию.

Увы, это печальное открытие не было последним... Живая ткань романа распалась на глазах, я уже догадывался, чей хищный лик восстанет из груды литературолома...

Тогда я совершил преступление. Господа, я не раскаиваюсь в содеянном! Более того — я счастлив и горд, что смог на это решиться.

Долг платежом красен

Судите же о том, какое впечатление среди такой ужасающей скуки должен был произвести на меня "Дон-Кихот". Находка этой книги явилась, может быть, величайшим событием моей жизни...

Жизнь Анри Брюллара, 71.

Все началось очень обыкновенно... Просматривая с воспитательной целью роман "Красное и черное", после того как его прочел мой пятнадцатилетний сын, я с грустью вспомнил свои детские волнения, стесненность дыхания, ошеломляющее сочетание восторженности и тоски — предчувствия страстей и опасностей взрослой жизни — от первого чтения этого романа, от его детского *прочтения* мною, московским школьником пятидесятых годов...

Что поделать, я принадлежу к тому невеселому послевоенному поколению граждан России — сейчас я вспоминаю эту страну без тени ностальгии, но с любовью и состраданием, — которые росли в уже целиком коммунистических семьях: неграмотная бабушка, потерявшая на войне двух сыновей и зятя, моего отца, одна только сохраняла желание и право на аполитичность и освежающую простоту суждений. Страх владел мною, в особенности за стенами дома — слова безграмотных школьных *педагогов* никак не вязались с реальностью ощущений, люди молчали о самом важном, газеты мрачно восхваляли нелепо-отвлеченное, вечно орущее радио с непостижимым для детского сердца ожесточением осыпало бранью и угрозами карикатурно-несуществующее... Говорить было не с кем и не о чем — оставалось читать.

О, эти спасительные островки мировой литературной классики, стойко возвышавшиеся над зловонными потоками советской литмакулатуры!

По молодости лет не умея пользоваться предисловиями — презервативами фабрики резиновых изделий отечественной *кретической мысли* (хотя априори уважая их марксистско-ленинскую мудреность), я то там, то сям подхватывал духовную заразу; болел подолгу, страдал от рецидивов. В конце концов, став взрослым, я попал, как особо заразный, под наблюдение доброго доктора. Но не Айболита (тот, по словам тоже доброго дедушки Корнея, "под Деревом сидит") — а другого, из большой, как в нашем остроумном народе говорили, Полуклиники на площади этого... как его... ну там еще его памятник напротив... всемирно-известный х... да нет, кроме шуток... ну как их называют, ну которые людей режут под этим...

как его... да нет, причем тут зная, вы эти ваши шуточки бросьте... черт, каждый раз на этом самом месте, как и раньше, в России, память отшибает... Так о чем я... ах, да, так вот, этот мой доктор (между прочим, он-то и был самый добрый, может, даже в мире — он и дедушкиного доктора посадил под это самое, наверное, мичуринское Чудо-Дерево) — так вот, этот мой доктор годами, не щадя себя, — люди-то ведь, сами знаете, самый ценный капитал — днем и ночью прослушивал мое дыхание через мой же телефонный аппарат. (А как это делается, все тот же опасно-информированный дедушка описал: "У меня зазвонил телефон... Кто говорит? Слон. Откуда? От Верблюда..." И так далее...)

Ах вы перламутрово-голубые, как околышки наших докторов, воспоминания моего розового — в отсветах кровавых свершений — детства! Нет с вами сладу...

Между прочим, после первых девятнадцати лет кристально-атеистической жизни меня угораздило напориться на Библию... Последующие девятнадцать лет понадобились на то, чтобы понять, что я хочу либо быть религиозным евреем на земле моих предков, либо не быть вовсе. Чудо состояло в возможности осуществить первую половину этого желания — право на его вторую половину наш остроумный народ давно уже отстоял, а еще больше отсидел.

...Но я забыл о Стендале... Он был одним из самых близких моему сердцу классиков... А все же мое счастье, что не читал я в детстве его мемуаров — этого парадоксального сплава аскетического ужаса детских страданий со светским мраком взрослых увеселений — и со свидетельствами высокого разума блестящего стилиста и джентльмена. (Кстати, граждане, я дико извиняюсь, но на душе как-то беспокойно... я тут случайно двадцатью строчками выше вроде как бы прихвастнул, вроде как бы намекнул на что-то личное... в общем, я человек семейный, к тому же совсем не тщеславный, так вот... я никогда ничем таким не болел и не пользовался... Фу, опять Стендаль попутал...) Подростком я учился у его героев честно-му пониманию своего эмоционального мира. Я воспринял от них идеал личной чести благородного индивидуалиста, со страстной тщательностью избегающего всякой фальши и не страдающего излишней скромностью самооценок. Говорит Стендаль: "У тетки Элизабет была испанская душа. Ее натура была квинтэссенцией чести. Она полностью передала мне эту манеру чувствовать, и отсюда ряд моих нелепых поступков, проистекавших из деликатности и величия души" (*Жизнь Анри Брюлара*, 96).

Вот еще жемчужина его воспоминаний: "Но я уже давно откладываю один очень важный рассказ, один из двух или трех, быть может, которые заставят меня сжечь эти записки. Моя мать, Генриетта Ганьон, была очаровательная женщина; я был влюблен в свою мать". (Там же, 28.) Далее следует волнующий своей смелой пронизательностью и безыскусной красотой отрывок первоклассной прозы — блестящий побег романтика из психиатрической лечебницы Зигмунда Фрейда, упрятавшего туда с помощью своей двойной эдиповской бухгалтерии весь цивилизованный мир.

"Но сколько нужно предосторожностей, чтоб не солгать!" — вот, что было заботой этого писателя (там же, 11) и, мне кажется, единственным основанием морального кодекса этого человека.

Есть трогательное место в мемуарах Стендаля, которое независимо от моих первоначальных намерений, но к моей радости, наделяет это эссе дополнительным

качеством неоконченного (не моя вина!) письма к другу:

”Неспособный ни на что, даже на то, чтобы писать официальные письма по долгу службы, я велел затопить камин и пишу это, как мне кажется, без всякого притворства, ничего не придумывая, с тем удовольствием, с каким пишут письмо другу. Каковы будут мысли этого друга в 1880 году? Как сильно они будут отличаться от наших?..” (Там же.)

Как видим, в 1980 году они отличаются сильно...

Между прочим, при таком взгляде на мои записки все содержащиеся в них автобиографические экскурсы едва ли способны удовлетворить законное любопытство моего знаменитого собеседника:

”Для меня это нечто новое: обращаться к людям, образа мыслей которых я совершенно не знаю, как и характера их воспитания, их предрассудков, религии! Какое поощрение к тому, чтобы быть *правдивым*, а ведь только простая *правдивость* выдерживает испытание”. (Там же, курсив Стендаля.)

Остается добавить, что в число моих предрассудков не входит морализирование. В особенности, нет ничего более ошибочного, чем *такое* понимание эпиграфа из Второзакония; тем, кого травмирует этот самый категорический из всех императивов — ”Избери же жизнь!” — я могу подбросить такую несложную мысль (я *не верю* в нее): эти слова Моисея обращены только к евреям и только об их земле идет там речь. Однако, рискуя рассердить нееврейского читателя (я боюсь даже думать о чувствах нерелигиозного еврейского читателя!), признаюсь: у меня возникло впечатление, что у героев Стендаля, а пожалуй, и у него самого *не было выбора*, и сознавать это очень грустно... ”В конце концов, сказал я себе, я не так уж плохо провел свою жизнь. Провел! Ах! Это значит, что случай не послал слишком много несчастий, так как, по правде говоря, разве я сколько-нибудь управлял своей жизнью?” (Там же, 6.)

Искусство чтения по диагонали

Сказал Кузари: Пока мне достаточно сказанного, если же мы продолжим беседу, я попрошу тебя привести более веские доказательства.

Кузари. Глава I.

Один мой российский приятель, который с чисто русской локальной принципиальностью вел один на один войну против всей мировой... нет, энтропии (физик по образованию, он принял слишком близко к сердцу метафизику Гиббса и философию Винера), — так вот, этот мой приятель имел, в частности, милое обыкновение читать — абсолютно все на свете — с обязательным карандашом в руке, — но не для подчеркивания, а для вычеркивания, вымарывания избыточных, по его мнению, слов, предложений, даже страниц — занятное зрелище являла собой его библиотека.

Слегка утрируя его привычку, я получил такой текст:

Юноша из провинции волею судеб расстается с семьей, отцом и братьями, и попадает в дом богатого и знатного человека в качестве слуги достаточно высокого ранга. Он делает успехи на новом поприще. После осложнений, вызванных нерав-

нодушием к нему жены его господина, он попадает в опалу и оказывается в "казенном доме". Внезапно счастье снова улыбается ему, ненавистная несвобода позади, его допускают в самые высокие сферы общества и государства, он делает поразительные успехи...

Да, я совсем забыл сказать, какая именно вещь подверглась этой варварской "диагонализации"... Но читатель уже и сам разгадал мой нехитрый трюк. Совершенно верно, очень похоже. (Между прочим, подыскивая выражение, одинаково пригодное для описания как древнеегипетской тюрьмы, так и католической семинарии, я впервые оценил эlegantность русского карточного жаргона.)

Но продолжим... ах, как раз здесь сюжеты истории Иосифа и романа Стендаля безнадежно разошлись.

Как известно, Иосиф стал вторым человеком в государстве, женился, родил детей, примирился с братьями, встретился с любимым отцом, дал им всем приют в Египте, прожил до глубокой старости, окруженный почетом и любовью, выполнив свое *предназначение*.

Бедняга Жюльен буквально накануне взлета своей карьеры, орогашения, блестящей женитьбы, рождения ребенка (ох, уж эта мне беременная Матильда де ла Моль с головой мужа "на маленьком мраморном столике") — гибнет, еще более чуждый родне и соотечественникам, разрушая семьи своих покровителей, убивая единственное дорогое его сердцу существо — "через три дня после казни Жюльена она (госпожа де Реналь) умерла, обнимая своих детей".

Там — жизнь и созидание, здесь — смерть и разрушение.

Там — благословение, здесь — осмелюсь ли сказать? — *проклятие*.

Нет нужды — я убежден — объяснять проницательному читателю, что эта (среди всего прочего, бесспорно, высокоморальная) аналогия проводится здесь не просто потому, что герой и героиня романа умирают — в финале "Пармской обители" умирают, например, герой, две героини и невинное дитя, и есть много других поучительных романов, на страницах которых свирепствует настоящий литературный геноцид.

Отступление, лирическое до бесстыдства

Читатель, вероятно, найдет слишком длинным рассказ о всевозможных уловках, к которым вынуждает отсутствие паспорта...

Пармская обитель, 211

Но чу! Я слышу визгливый крик негодования:

"Снова ты за эти ваши подсчеты — кто сколько недожил, у кого какое жалование, здесь, мол, нельзя... Все это еще еврейчик-будочник шепелявил Свидригайлову! Что за местечковое отношение к жизни и литературному творчеству! Что за еврейское панибратство с литературными гениями!! И вообще, кто ты такой?! В чем твое *общечеловеческое кредо*, мерзавец?! Отвечай!"

...Мне, как и андерсеновскому оловяному солдатику, нелегко демонстрировать свою стойкость. Чья-то суровая рука поместила меня в бумажный кораблик

моего эссе, — а ведь волны нешуточные... Только и остается, что покрепче сжимать мою шариковую ручку...

Но в самом деле, как же с паспортом? Что же предъявить?.. Что же предъявить этой крысе? У меня ведь ничегошеньки нет!.. Ах, я предъявлю ей это:

Слушай, Израиль! Господь Бог твой, Господь Единый.

Так ведь сказали сыновья Иакова (и мой дорогой Иосиф среди них) умиравшему отцу, и это стало с тех пор сердцем нашей молитвы... Да, но ведь этот текст наверняка был и у того будочника, — и это ему нисколько не помогло в глазах его знаменитого создателя и оппонента!..

Что же делать, Сарра, что же нам делать, бедным евреям?! Откуда взять ее, эту... обещиловещицкую х... х... хедру!.. Может, вот эта сойдет:

“Ужасным вопросом, разобраться в котором у меня не хватало ума, было: где же на земле счастье? А иногда я приходил к такому вопросу: есть ли на земле счастье?” (*Жизнь Анри Брюллара*, 269.)

Нет, уж лучше тогда эта, как-то посolidнее:

“Я должен написать историю своей жизни; может быть, когда она будет написана, я, наконец, узнаю, какой я был, — веселый или печальный, умный или глупый, храбрый или трусливый, и, главное, счастливый или несчастливый...” (Там же, 8.)

Нет, не годится и эта. И вообще, безнравственно путешествовать под чужими документами... В общем, нет у меня паспорта...

...Ах, этот крысиный вопль. Я записал его весьма приблизительно. Сколько раз — в жизни и из книг — доносились до меня эти окрики “в-своем-праве-крыс” еще в те времена, когда я весьма смутно и даже с некоторым подозрением ощущал свою связь с потомками Иакова... Что же касается будочника, то при всей гениальной пристрастности — о, злые гении моей несчастной внеисторической Родины, моей вдовствующей приемной матери — России: ее писателем был столичный эпилептик, ее пролетарским реформатором стал заграничный сифилитик, ее Генералиссимусом был назначен провинциальный параноик, — при всей, повторяю, пристрастности Достоевского в этой безобразной сцене — я на стороне еврея-будочника, трусливого, забитого и шепелявого, но несомненно святого рядом с русским Свидригайловым, — против автора “Преступления и наказания”...

Но так уж устроен человек, даже если он еврей, что критика, даже если она в действительности травля, находит отзыв в его душе... В особенности если она слегка затянулась... примерно так лет на тысячи две подряд... Как же тут не задуматься, Сарра... Ой, вай, как же нам быть, что же нам делать, Сарра, бедным евреям?..

Нет, а кроме шуток, — у кого бы перехватить это... как его (я и заплатить могу, не торгуясь в виде исключения, — если не очень дорого, конечно, — я ведь бедный еврей, у меня ведь дома жена, детки, а? так недорого, ладно?), ну это... как его... ну хоть какое-нибудь, можно поношенное, пусть с большим километражем (у меня знакомый механик в гараже работает, тоже, промежду прочим, еврей, у нас тут все евреи), я и покрасить заново могу, но мне бы только такое, по-настоящему обще-чел-ловечес-кое к...к...кредо. А? Понимаете, не общеарабское, общегомосексуальное (а то, я слышал, сейчас и общетранссексуальное бывает), обще-

пролетарское или общерыночное, а просто такое, ну пусть портативное (с ним, может, еще удобнее), но обязательно обще-че-ло-ве-че-ское как его... ну, вы меня уже понимаете, в общем его, а?

...Но тут даже у беспристрастно-проницательного читателя вышло все его неистощимое терпение, и он обрушил на меня свой справедливый гнев: К чему эта истерика, эти мнимые тревоги и обиды, это демонстративное кривлянье – солдатики, кредо, Свидригайлов, механик в гараже?! Кто тебя травит – ведь у тебя израильское гражданство, подлец! Что ты там возишься, как Бегемот под кроватью Воланда?! Тебе что, золоченых усов не хватает? Так позолотил бы их себе сразу, за сценой этого твоего... эссе, идиот.

Но поздно, поздно, проницательный читатель! Не сердись – все уже готово (а, кстати, может, хоть у тебя есть лишнее... это... как его... ну, не сердись, не сердись, я пошутил, дружище).

Кирпичи чувств, цемент мыслей и железный каркас сюжета

Очень прошу читателя, если когда-нибудь найду его, помнить, что я притязаяю на правдивость только в том, что касается моих чувств; на факты у меня всегда была плохая память.

Жизнь Анри Брюллара, 88.

Вглядимся внимательнее в мой двуликий комикс, проигрывая одновременно в памяти записи деталей обоих повествований – истории Иосифа и романа Стендаля:

Юноша из провинции волею судеб расстается с семьей, отцом и братьями и попадает в дом богатого и знатного человека в качестве слуги достаточно высокого ранга. Он делает успехи на новом поприще. После осложнений, вызванных неравнодушием к нему жены его господина, он попадает в опалу и оказывается в неволе. Благодаря его достоинствам, даже там счастье улыбается ему. Он на свободе, более того, он допущен в самые высокие сферы общества и государства...

(Разумеется, разительное несходство финалов двух повествований столь же многозначительно, как и не менее разительное сходство самих повествований; в действительности, это различие с почти математической точностью следует из мелких, но весьма существенных отклонений истории Жюльена от истории Иосифа.)

Бросается в глаза одна существенная особенность судьбы Иосифа: каждая перемена декораций в жизни Иосифа – это настоящая трагедия или подлинный триумф, т. е. объективно предельно серьезный поворот судьбы. С каким искусством имитирует Стендаль эту объективно величественную жизнь с помощью совершенно субъективных средств! Посмотрите любой современный фильм о космических битвах, а потом посетите мастерскую при киностудии, где из крашенных спичек воздвигают города неведомых цивилизаций.

Мы позже посетим мастерскую писателя, а сейчас только два примера.

Трагической сцене нападения на Иосифа его братьев, угрожавших ему смертью, и продажи Иосифа в рабство соответствует сцена избияния Жюльена отцом (он чудом не гибнет под пилой лесопилки) и сцена торговли отца Жюльена с де Реналем;

описание чувств Жюльена таково, что вполне годится для пояснения лаконичного библейского повествования, но говоря объективно, Жюльен даже не покидал свой родной, пусть нелюбимый город, не говоря уж о своем народе, он мог отказаться от предлагаемого места, перейти на другое. Поймите же, наконец, — Иосиф был продан!

Сцене заключения Иосифа в тюрьму отвечает сцена поступления Жюльена в семинарию: "Он издали увидел железный золоченый крест на воротах; он медленно приблизился; ноги у него подкашивались. — Вот он, этот ад земной, из которого мне уже не выйти!" Но, друзья мои, — вольному воля, ведь аббат Шелан требовал от Жюльена только... итак: "Я требую, чтобы вы в трехдневный срок отправились либо в Безансонскую семинарию, либо на житье к вашему другу Фуке, который по-прежнему готов прекрасно вас устроить". Вы слышите? Прекрасно устроить! Вот он выбор, — а что у Иосифа?..

Простите, вмешался пронизывающий читатель (он очень отходчив, он мне все простил и снова со мной на Вы), это упрощение. Что делал бы Жюльен, отказавшись от места у де Реналья или поселившись у Фуке? Ведь он был наделен высокой душой и был честолюбив, он хотел вырваться из этого затхлого мешанского мирка, он...

Чудесно, мой пронизывающий друг, чудесно! Вы смотрите прямо в корень, вы даете мне право сказать, наконец, главное: обаяние Жюльена как героя именно в том и состоит, что им движет Долг, или Рок, если хотите, — и в этом *самая деликатная деталь* стендалевской имитации.

Все в жизни Иосифа — и его безмерные несчастья, и столь же безмерные успехи — это гармоническое сочетание, содружество, сотрудничество двух сил — Божественного промысла и решимости Иосифа быть верным этому Промыслу. Все в литературной жизни Жюльена — это мучительный путь к гибели под заботливым оком пожирателя детей — галантной французской чести. Я подозреваю, что мой знаменитый собеседник, Стендаль, не согласился бы с этим замечанием о французской чести... Это обязывает меня привести следующий пример: последствия благосклонности жены господина были роковыми как для Иосифа, так и для Жюльена; Иосиф поплатился тюрьмой за отказ, Жюльен — жизнью за согласие. Отказ Иосифа проистекал из гармонического сочетания его чувств и убеждений: "Но он отказался и сказал жене господина своего: ведь господин мой не знает при мне ничего в доме, — все, что имеет, отдал в руки мне. Он не больше меня в доме этом; и он не удержал от меня ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему; а как же сделаю я это великое зло и согрешу пред Богом" (*Бытие 39:8–9*). Согласие Жюльена было результатом победы его убеждений над его природой: "Поистине Жюльен с полным основанием мог гордиться своим мужеством; никогда еще не подвергал он себя такому чудовищному насилию. Отворяя дверь своей комнаты, он так дрожал, что у него подгибались колени, и он вынужден был прислониться к стене" (*Красное и черное*, 139).

Я утверждаю (поверьте, только ради этой одной фразы и последующей цитаты из Бытия я был готов писать, и сейчас я готов ко всем последствиям появления перед вами моего эссе) — Стендаль наделил Жюльена благородным и чувствительным сердцем Иосифа, но он не дал, не мог, не умел ему дать высокой души, великого духа Иосифа, нерасторжимо соединенного с его Высоким Источником. "Рос-

ток плодоносный Иосиф, плодоносный над Источником; ветви его простираются над стеною. И огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы; и тверд остался лук его, и прятки были мышцы рук его, поддержанные Владыкой Иакова, оттого пастырем стал и твердыней Исразлевой от Бога, Отца твоего, который да поможет тебе, и от Всемогущего, Он да благословит тебя благословениями неба свыше, благословениями бездны, лежащей внизу, благословениями персей и утробы. Благословения отца твоего превышают благословения моих родителей до пределов холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени отличившегося от братьев своих”, — так говорил Иосифу в присутствии его братьев их отец в своем последнем благословении (*Бытие* 49:22–26).

Искусство параллельного чтения

– Отчего твои очи грустны?
В погребах наших царские вина!
– Бедный юноша – я, вижу сны
И служу своему господину.

– Позабавь же свою госпожу!
Солнце жжет, господин наш – далеко...
– Я тому Господину служу,
Чье не дремлет огромное око.

Марина Цветаева, *Иосиф*

Но будем объективны – Жюльен был обречен самим литературным замыслом: он и родился-то на страницах романа в 1829–30 годах только потому, что 23 февраля 1828 года вполне реально погиб под ножом гильотины совершенно реальный Антуан Бертье из Гренобля, юный домашний учитель, стрелявший в мать своих воспитанников.

Посетим же мастерскую писателя, герои которого были так молоды и так несчастны... Перейдем к прямому сопоставлению текстов; важно помнить, что *при этом мы смотрим на историю Иосифа глазами Стендаля*, т. е. воспринимаем текст книги Бытия (к тому же не подлинный, а в переводе) буквально, — в действительности же интерпретация *такого текста* неизбежна (и весьма соблазнительна, как показывает поучительный пример благожелательно-помпезной стилизации Томаса Манна); в своем романе Стендаль и дает такую интерпретацию на французский лад — это только другая формулировка моего тезиса.

...Забавно, — но этого и следовало ожидать от галантного французского писателя, — что больше всего выиграла от литературной эмиграции из Древнего Египта во Францию жена Потифара: этот более чем второстепенный для истории Иосифа образ настолько обогатился, что для его адекватной передачи потребовались две полноценные героини, да еще Маргарита Наваррская в грозном резерве — со скальпами своих именитых возлюбленных...

Но к делу! Вот несколько технических замечаний: до конца этой главы курсив служит лишь для одной специальной цели — он уведомляет читателя, что пересказ уступает место прямому цитированию; история Иосифа цитируется по параллельному (иврит-русский) изданию Торы 1975 года (Иерусалим), первое число — номер главы книги Бытия, числа после двоеточия — номера стихов; число после цитаты из романа “Красное и черное” — номер страницы.

У Иосифа было десять братьев, старше его.

Он вырос в семье потомственных пастухов. Пастушество – тяжкий труд, стоит лишь вспомнить слова отца Иосифа, Иакова: *Бывало со мною, днем жег меня зной, а холод ночью, и убегал сон мой от глаз моих* (31:40).

Мать Иосифа, Рахель, умерла.

Братья Иосифа пасли скот вдали от дома, и как ясно, например, из истории их сестры Дины и князя Шхема (34), они были сильные и суровые люди.

Иосифу в начале повествования о нем было семнадцать лет (37:2).

Иосиф был красив станом и красив видом (39:6)

Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его (37:3)

В Египте, благодаря Божественному Провидению, у Иосифа были покровители, высоко ценившие услуги Иосифа, – Потифар, начальник тюрьмы, фараон.

Иосиф платил отцу горячей любовью.

У Жюльена было два старших брата, но установить это из текста нелегко (только стр. 50) – они упоминаются в романе, и преднамеренность этого не вызывает сомнений, лишь как "братья", что в сочетании с их описанием – см. ниже – превращает их почти в толпу.

Отец и братья Жюльена – плотники, работа на лесопилке – суровый физический труд.

У Жюльена, очевидно, мать также умерла.

Настоящие исполины (61) – так описывает Стендаль братьев Жюльена.

Вот каков был этот восемнадцатилетний юноша, такой хрупкий на вид, что ему от силы можно было дать семнадцать лет... (71).

Стройный и гибкий стан, красивое лицо (63) – это о Жюльене.

Старик Сорель презирал Жюльена (старшими сыновьями он гордился) (61–65), но замечательно, что на всех этапах его нелегкой жизни у Жюльена был покровитель, заменявший ему отца: отставной лекарь – *он был любимцем этого старика-лекаря* (57, 63), аббат Шелан (95), аббат Пирар (266).

Хотя формально Потифару соответствует де Реналь, начальнику тюрьмы – аббат Пирар, лишь де ла Мошь напоминает покровителей Иосифа.

Жюльен ненавидел отца (63), но *привязался всем сердцем к старику полковому лекарю* (63), аббату Шелану (95), аббату Пирару (267).

Своим покровителям и господам Иосиф предан, как Бог обязывает своих слуг.

Иаков передал Иосифу, как и его братьям, свою веру в Бога Авраама и Ицхака. Полноту своей веры во Всевышнего Иосиф не раз демонстрирует своей полной решимостью на самопожертвование.

Жизнь Иосифа была омрачена нелюбовью братьев: *и возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно* (37:4).

Но Иосиф любил их (например, 45:2; 50:21).

Провидческие сны Иосифа (37:5, 9) были особым отличием его духовной жизни; несмотря на неодобрение близких, он, как мы понимаем, верил в их пророческий характер.

Рассказы об этих снах усилили ненависть братьев (37:8), а однажды вызвали неодобрение отца (37:10).

Сны Иосифа впоследствии сбылись (например, 42:9 и 50:18).

Сложная ситуация в семье Иакова разрешилась трагически. Иосиф был на краю гибели, но все кончилось благополучно — он оказался в доме Потифара. Воспроизведем всю картину подробнее.

Исполнительный и добросовестный Жюльен не считает себя, однако, связанным в галантных чувствах.

Кумиром Жюльена был Наполеон — персонифицированный символ Чести. Его культ он воспринял от отставного лекаря (63). За свои идеалы Жюльен был готов отдать жизнь; больше того, он ее отдал.

Все домашние презирали Жюльена (63)

Жюльен *ненавидел своих братьев* (63).

Жюльен, единственный в семье, читал книги (его отец был неграмотен) и относился к этому столь серьезно, что *готов был на смерть пойти* (65) за некие три книги.

Жюльен попадался за чтением — *ничего более ненавистного для старика Сореля быть не могло* (62).

Стендаль не верил в Божественный Промысел, но верил в предзнаменования; поэтому он имитирует пророческие сны Иосифа сбывшимся впоследствии предзнаменованием — перед началом новой жизни Жюльен приходит в церковь (будучи неверующим! — например, 66), место своего будущего преступления, и видит там... но читателю лучше самому прочесть всю стр. 71.

Жюльен был прямо приглашен из дома отца в дом своего первого покровителя — де Реналья, но обстоятельства его поступления на службу точно повторяют злоключения Иосифа, иногда с нарушением порядка следования. Впрочем, картина на мельнице намекает, что Жюльена всю жизнь травили близкие так, как Иосифа только однажды в течение одного дня.

Иаков послал Иосифа на дальнее пастбище, к братьям. *И увидали они его издали, и прежде чем он приблизился к ним, они замыслили убить его... они сняли с Иосифа рубашку его, рубашку его разноцветную, что на нем (подарок отца – и сделал ему разноцветную рубашку, 37:3), и взяли его и бросили в яму (37:13, 18–24).*

Братья совещаются, что им делать с Иосифом (37:25–27). Мы догадываемся, что Иосиф (он сидит неподалеку в яме) с волнением ждет их решения.

Иосифа было решено продать (37:27), его купили арабские купцы, перепродавшие его позже в Египте Потифару, начальнику телохранителей фараона (37:28 и 39:1).

Но уважение к интеллекту, начитанности и наблюдательности моих собеседников вынуждает меня прервать эту поразительную литературную фугу. Поистине, умному достаточно... Пусть же вот этот музыкальный такт станет последним: слезный дар Иосифа и Жюльена, его французской тени!

И пал он на шею Беньямину, брату своему, и плакал; и Беньямин плакал на шее его. И целовал он всех братьев своих, и плакал над ними... (45:14–15). И запряг Иосиф колесницу свою и поднялся навстречу Израилю, отцу своему в Гошен, и явился к нему, пал на шею его, и долго плакал на шее его (46:29). И окончил Иаков завещать сыновьям своим... и скончался, и был приобщен к народу своему. И пал

Жюльена это постигло после ухода из дома и поступления на службу. Встреча с братьями произошла случайно: *Его прекрасный черный костюм, сшитый для него по заказу его хозяином (78), весь его чрезвычайно благопристойный вид и то совершенно искреннее презрение, с каким он относился к ним, вызвали такую злобную ненависть у этих грубых мастеровых, что они набросились на него с кулаками и избили так, что он остался лежать без памяти весь в крови (82, 83).*

Спустя некоторое время Жюльен увидел, как отец и братья стояли все вместе, опершись на топоры, и держали семейный совет (65), обсуждая предложение де Реналья.

Все поведение отца Жюльена с момента, когда к нему обратился мэр, должно, по замыслу Стендаля, демонстрировать, что эта сделка – откровенная купля-продажа (64–68). Важное отличие: Жюльен участвует в ней, имея совещательный голос, что он и пытается использовать с единственной целью – добиться для себя статуса служащего, а не слуги – *я не хочу быть лакеем (64).*

Суровые попреки старика обрушились на Жюльена, едва только они остались одни. Жюльен не удержался и заплакал. "Экое подлое малодушие!" – повторял он себе в бешенстве... Жюльен был чуть ли не в отчаянии. Он не знал, как ему отделаться от отца. "У меня есть сбережения!" – внезапно воскликнул он. Это восклицание, вырвавшееся у него как нельзя более кстати, мигом изменило и выражение лица старика и